

...Есть два рода сострадания. Одно — малодушное и сентиментальное, оно, в сущности, не что иное, как нетерпение сердца, спешащего поскорее избавиться от тягостного ощущения при виде чужого несчастья; это не сострадание, а лишь инстинктивное желание оградить свой покой от страданий ближнего. Но есть и другое сострадание — истинное, которое требует действий, а не сантиментов, оно знает, чего хочет, и полно решимости, страдая и сострадая, сделать все, что в человеческих силах и даже свыше их.

Нетерпение сердца

«Ибо кто имеет, тому дано будет» — каждый писатель может с легким сердцем признать справедливость этих слов из Книги Мудрости, применив их к себе: кто много рассказывал, тому многое расскажется. Ничто так не далеко от истины, как слишком укоренившееся мнение, будто писатель только и делает, что сочиняет всевозможные истории и происшествия, снова и снова черпая их из неиссякаемого источника собственной фантазии. В действительности же, вместо того чтобы придумывать образы и события, ему достаточно лишь выйти им навстречу, и они, неустанно разыскивающие своего рассказчика, сами найдут его, если только он не утратил дара наблюдать и прислушиваться. Тому, кто не раз пытался толковать человеческие судьбы, многие готовы поведать о своей судьбе.

Эту историю мне тоже рассказали, причем совершенно неожиданно, и я передаю ее почти без изменений.

В мой последний приезд в Вену, как-то вечером, уставший от множества дел, я отыскал один пригородный ресторан, полагая, что он давно вышел из моды и вряд ли многолюден. Однако едва я вошел в зал, как мне пришлось раскаяться в своем заблуждении. Из-за первого же столика поднялся знакомый и, проявляя все признаки искренней радости, которой я отнюдь не разделял, предложил подсесть к нему. Было бы неверно утверждать, что этот суетливый господин сам по себе несносный или неприятный человек; он лишь принадлежал к тому сорту назойливых людей, что коллекционируют знакомства с таким же усердием, как дети — почтовые марки, чрезвычайно гордясь каждым экземпляром своей коллекции.

Для этого чудака — между прочим, дельного и знающего архивариуса — весь смысл жизни, казалось, заключался в чувстве скромного удовлетворения, которое он испытывал, если при упоминании какого-либо имени, время от времени мелькавшего в газетах, мог небрежно обронить: «Это мой близкий друг», или: «Да я его только вчера видел», или: «Мой друг А. говорит, а мой приятель Б. полагает», — и так до конца алфавита. Знакомые актеры всегда могли рассчитывать на его аплодисменты, знакомым актрисам он звонил утром после премьеры, торопясь поздравить их; не бывало случая, чтобы он позабыл чей-нибудь день рождения; пристально следя за рецензиями, он оставлял без внимания малоприятные, хвалебные же вырезал из газет и от чистого сердца посылал друзьям. В общем, это был неплохой малый, ибо в своем усердии он руководствовался самыми добрыми намерениями и почитал за счастье, если кто-либо из его именитых друзей обращался к нему с пустячной просьбой или же пополнял его коллекцию новым экземпляром.

Нет нужды подробней описывать нашего друга «при ком-то» — как в насмешку окрестили венцы этих добродушных прилипал из многоликой породы снобов, — любой из нас встречал их и знает, что только грубостью можно отделаться от их безобидного, но назойливого внимания. И так, покоровшись судьбе, я подсел к нему. Не поболтали мы и четверти часа, как в ресторан вошел рослый господин с молодежавым румяным лицом и сединой на висках; по выправке в нем сразу угадывался бывший военный. Поспешно привстав с места, мой сосед с присущим ему усердием поклонился вошедшему, на что тот ответил скорее безразлично, нежели учтиво. Не успел новый посетитель сделать подбежавшему кельнеру заказ, как мой друг «при ком-то», подвинувшись ко мне поближе, тихо спросил:

— Знаете, кто это?

Помня его привычку хвастать любим, даже малоинтересным экземпляром своей коллекции и опасаясь слишком пространных объяснений, я холодно бросил «нет» и занялся тортом. Однако мое равнодушие только подзадорило этого собирателя имен; поднося ладонь ко рту, он зашептал:

— Это же Гофмиллер из главного интендантства; ну, помните, тот, что в войну получил орден Марии-Терезии.

Поскольку этот факт вопреки ожиданию не произвел на меня ошеломляющего впечатления, господин «при ком-то» с патриотическим пылом, достойным школьной хрестоматии, принялся выкладывать все подвиги, совершенные ротмистром Гофмиллером сначала в кавалерии, затем в воздушном бою над Пьяве, когда он один сбил три вражеских самолета, и, наконец, когда его пулеметная рота трое суток сдерживала натиск противника. Рассказ свой господин «при ком-то» сопровождал массой подробностей (я их здесь опускаю) и то и дело выражал безмерное

изумление по поводу того, что я никогда не слышал об этом выдающемся человеке, которому император Карл самолично вручил высшую австрийскую военную награду.

Невольно поддавшись искушению, я взглянул на соседний столик, чтобы с двухметровой дистанции увидеть героя, отмеченного печатью истории. Но я встретил твердый, недовольный взгляд, который словно говорил: «Этот тип уже что-то наплел тебе? Нечего на меня глазеть». И, не скрывая своей неприязни, ротмистр резко передвинул стул и уселся к нам спиной. Несколько смущенный, я отвернулся и с этой минуты избегал даже краешком глаза смотреть в его сторону.

Вскоре я распрощался с моим усердным сплетником. При выходе я не преминул отметить про себя, что он уже успел перебраться к своему герою: видимо, не терпелось поскорее доложить ему обо мне, как он докладывал мне о нем.

Вот, собственно, и все. Я бы скоро позабыл эту мимолетную встречу взглядов, но случаю было угодно, чтобы на следующий день в небольшом обществе я оказался лицом к лицу с неприступным ротмистром. В смокинге он выглядел еще более эффектно и элегантно, нежели вчера в костюме спортивного покроя. Узнав друг друга, мы оба постарались скрыть невольную усмешку, словно два заговорщика, оберегающие от посторонних тайну, известную только им. Вероятно, воспоминание о вчерашнем незадачливом своднике в одинаковой мере раздражало и забавляло нас обоих. Сначала мы избегали говорить друг с другом, что, впрочем, все равно не удалось бы, поскольку вокруг разгорелся жаркий спор.

Предмет этого спора можно легко угадать, если я упомяну, что он имел место в 1938 году. Будущие летописцы установят, что в 1938 году почти в каждом разговоре — в какой бы из стран нашей испуганной Европы он ни про-

исходил — преобладали догадки о том, быть или не быть новой войне. При каждой встрече люди, как одержимые, возвращались к этой теме, и порой даже казалось, будто не они, пытаясь избавиться от обуявшего их страха, делятся своими опасениями и надеждами, а сама атмосфера, взбудораженная, насыщенная скрытой тревогой, стремится разрядить в слова накопившееся напряжение.

Дискуссию открыл хозяин дома, адвокат по профессии и большой спорщик.

Общеизвестными аргументами он пытался доказать общеизвестную чушь, будто наше поколение, уже испытывавшее одну войну, не позволит так легко втянуть себя в новую: едва объявят мобилизацию, как штыки будут повернуты в обратную сторону — уж кто-кто, а старые фронтовики вроде него хорошо знают, что их ждет.

В тот самый час, когда сотни, тысячи фабрик занимались производством взрывчатых веществ и ядовитых газов, он сбрасывал со счетов возможность новой войны с той же небрежной легкостью, с какой стряхивал пепел своей сигареты.

Его апломб вывел меня из терпения. Не всегда следует принимать желаемое за действительное, весьма решительно возразил я ему. Ведомства и организации, управляющие военной машиной, тоже не дремали. И пока мы тешили себя иллюзиями, они сполна использовали мирное время, чтобы заранее привести массы, так сказать, в боевую готовность. Если уже сейчас, в мирные дни, всеобщее раболепие благодаря самоновейшим методам пропаганды достигло невероятных размеров, то в минуту, когда по радио прозвучит приказ о мобилизации — надо смотреть правде в глаза, — ни о каком сопротивлении и думать нечего. Человек всего лишь песчинка, и в наши дни его воля вообще не принимается в расчет.

Разумеется, все были против меня, ибо люди, как известно, склонны к самоуспокоению, они пытаются за-

глушить в себе сознание опасности, объявляя, что ее не существует вовсе. К тому же в соседней комнате нас ждал роскошно сервированный стол, и при подобных обстоятельствах мое возмущение неоправданным оптимизмом казалось особенно неуместным.

Неожиданно за меня вступился кавалер ордена Марии-Терезии, как раз тот, в ком я ошибочно предполагал противника.

— Это чистейший абсурд, — горячо заговорил он, — в наше время придавать значение желанию или нежеланию человеческого материала, ведь в грядущей войне, где в основном предстоит действовать машинам, человек станет не более как придатком к ним. Еще в прошлую войну на фронте мне редко встречались люди, которые безоговорочно принимали или безоговорочно отвергали войну. Большинство нас подхватило, как пыль ветром, и закружило в общем вихре. И пожалуй, тех, кто пошел на войну, убегая от жизни, было больше, чем тех, кто спасался от войны.

Я с изумлением слушал его, захваченный прежде всего страстностью, с которой он говорил.

— Не будем обманывать себя. Начнись сейчас вербовка добровольцев на какую-нибудь экзотическую войну — скажем, в Полинезии или в любом уголке Африки, — и найдутся тысячи, десятки тысяч, которые ринутся по первому зову, сами толком не зная почему — то ли из стремления убежать от самих себя, то ли в надежде избавиться от безрадостной жизни. Вероятность сопротивления войне я оцениваю немногим выше нуля. Чтобы в одиночку сопротивляться целой организации, требуется нечто большее, чем готовность плыть по течению, — для этого нужно личное мужество, а в наш век организации и механизации это качество отмирает. В войну я сталкивался почти исключительно с явлением массового мужества, муже-

ства в строю; оказалось, что за ним скрываются — если разглядывать его в увеличительное стекло — самые неожиданные стимулы: много тщеславия, много легкомыслия и даже скуки, но прежде всего — страх. Да, да! Боязнь отстать, боязнь быть осмеянным, боязнь действовать самостоятельно и, главным образом, боязнь противостоять общему порыву; большинство из тех, кого считали на фронте храбрцами, были мне лично известны и тогда и потом, в гражданской жизни, как весьма сомнительные герои. Пожалуйста, не думайте, — добавил он, вежливо обращаясь к хозяину, состроившему кислую мину, — что я делаю исключение для себя.

Мне понравилось, как он говорил, и я уже собрался было подойти к нему, но тут хозяйка дома пригласила гостей к столу, и, так как нас усадили далеко друг от друга, нам не удалось побеседовать за ужином. Только когда все стали расходиться, мы столкнулись в прихожей.

— Мне кажется, — сказал он, улыбнувшись, — что наш общий покровитель уже заочно представил нас друг другу.

Я тоже улыбнулся:

— И весьма обстоятельно.

— Наверно, изображал меня этаким Ахиллесом и хвастался моим орденом, как своим?

— Что-то в этом роде.

— Да. Им он чертовски гордится — так же, как и вашими книгами.

— Чудак! Но бывают и хуже. Может быть, пройдемся немного вместе, если вы ничего не имеете против?

Мы вышли. Сделав несколько шагов, он заговорил:

— Не подумайте, что я рисуюсь, но действительно ничто мне так не мешало все эти годы, как орден Марии-Терезии — слишком уж он бросается в глаза. Конечно, по совести говоря, когда мне повесили его на грудь там, на фронте, у меня голова пошла кругом. Ведь, в конце кон-

цов, если тебя воспитали солдатом и ты еще в кадетском корпусе наслышался об этом легендарном ордене, который в каждую войну достается, быть может, какому-нибудь десятку людей, то он и в самом деле кажется звездой, упавшей с неба. Да, для двадцативосьмилетнего парня это кое-что значит. Вы только представьте себе: стоишь перед строем, все смотрят, как у тебя на груди вдруг что-то засверкало, будто маленькое солнце, а его недосягаемое величество, сам император, на глазах у всех поздравляет тебя, пожимая руку! Но видите ли, эта награда имела смысл и значение только в нашем армейском мире. Когда же война кончилась, мне показалось смешным ходить весь остаток жизни с ярлыком героя только потому, что однажды, всего каких-нибудь двадцать минут, я был по-настоящему храбр, но, наверно, не храбрее, чем тысячи других; просто мне выпало счастье быть замеченным и — что самое удивительное — вернуться живым. Уже через год мне осточертело изображать ходячий монумент и смотреть, как люди из-за кусочка металла на груди взирают на меня с благоговением; меня раздражало постоянное внимание к моей персоне, это и послужило одной из причин того, что я очень скоро после окончания войны ушел из армии.

Он немного ускорил шаг.

— Я сказал: одной из причин, главная же была иного порядка, личного, она вам, пожалуй, будет еще понятнее. Главная причина заключалась в том, что я сам слишком сомневался в своем праве называться героем — во всяком случае, в своем героизме. Я-то лучше всяких зевак знал, что этим орденом прикрывается человек, меньше всего похожий на героя, скорее наоборот — он один из тех, кто очертя голову ринулся в войну только потому, что попал в отчаянное положение; это были дезертиры, сбежавшие от личной ответственности, а не герои патриотического

долга. Не знаю, как вы, писатели, смотрите на это, но лично мне ореол святости кажется противоестественным и невыносимым, и я испытываю огромное облегчение, с тех пор как избавился от необходимости ежедневно демонстрировать на мундире свою героическую биографию. Меня и по сей день злит, когда кто-нибудь занимается раскопками моей былой славы; признаться, вчера я чуть не подошел к вашему столику, чтобы отругать этого болтуна, похвалявшегося мною. Почтительный взгляд, который вы бросили в мою сторону, весь вечер не давал мне покоя; больше всего мне хотелось тут же опровергнуть его болтовню и заставить вас выслушать, какой кривой дорожкой я, собственно, пришел к своему геройству. Это довольно странная история, во всяком случае, она показала бы вам, что иной раз мужество — это слабость навыворот. Впрочем, я мог бы вполне откровенно рассказать вам ее. О том, каким ты был четверть века назад, можно говорить так, словно это касается кого-то другого. Располагаете ли вы временем, чтобы выслушать меня? И не покажется ли вам это скучным?

Разумеется, я располагал временем; в ту ночь мы еще долго бродили по опустевшим улицам. Встречались мы и в последующие дни.

Передавая его рассказ, я изменил лишь немного: «гусаров» назвал «уланами», предусмотрительно изменил расположение гарнизонов и, уж конечно, не стал упоминать настоящие имена. Но нигде я не присочинил чего-либо существенного и вот теперь предоставляю слово самому рассказчику.

Все началось с досадной неловкости, с нечаянной оплошности, с *gaffe**, как говорят французы. Правда, я поспешил загладить свой промах, но когда слишком торо-

* Бестактного поступка (*фр.*).

пишья починить в часах какое-нибудь колесико, то обычно портишь весь механизм. Даже спустя много лет я так и не могу понять, где кончалась моя неловкость и начиналась вина. Вероятно, я этого никогда не узнаю.

Мне было тогда двадцать пять лет. Я служил в чине лейтенанта в Н-ском уланском полку. Не скажу, чтобы я испытывал особое влечение или чувствовал в себе призвание к военной службе. Но если в семье австрийского чиновника за скудным столом сидят две девочки и четверо вечно голодных мальчуганов, то их не очень расспрашивают о наклонностях, а поскорее пристраивают к делу, чтобы они не слишком засиживались в родительском гнезде. Моего брата Ульриха, который еще в школе испортил себе глаза зубрежкой, отдали в семинарию; меня же, поскольку я отличался крепким сложением, послали в военное училище: там клубок жизни разматывается сам собой, его уже не надо тянуть за нитку. Все заботы берет на себя государство. За несколько лет оно бесплатно, по установленному казенному образцу, выкраивает из худощавого, бледного подростка безусого прапорщика и в годном к употреблению виде сдает его армии. Мне еще не исполнилось и восемнадцати, когда — по традиции, в день рождения императора — состоялся наш выпуск, и на моем воротнике вскоре засверкала звездочка. Первый этап был пройден; отныне мне предстояло с надлежащими интервалами автоматически продвигаться вверх по служебной лестнице вплоть до пенсии и подагры. В кавалерию, где служба, увы, далеко не всякому по средствам, я попал не по собственному желанию, а по прихоти тетки Дези, второй жены старшего брата отца; она обручилась с моим дядей, когда тот перешел из министерства финансов на более выгодную должность председателя правления банка. Эта богачка с аристократическими замашками не допускала и мысли, что кто-либо из ее родственников спосо-

бен «опозорить» фамилию Гофмиллеров службой в пехоте; а так как за свой каприз она ежемесячно выплачивала мне сотню крон, то при каждом удобном случае я еще должен был покорнейше благодарить ее. Нравилась ли мне служба в кавалерии и вообще в армии — над этим никто никогда не задумывался, и меньше всего я сам. Стоило мне вскочить в седло, как я забывал обо всем на свете и дальше ушей своего коня ничего не видел.

В ноябре 1913 года из одной канцелярии в другую, вероятно, спустили какой-то приказ, и наш эскадрон неожиданно-негаданно перевели из Ярославиче в небольшой гарнизонный городок у венгерской границы. Как он назывался — не так уж важно, ибо все провинциальные гарнизонные городки в Австрии отличаются друг от друга не больше, чем пуговицы на мундире. Повсюду одна и та же казенная декорация: казарма, манеж, учебный плац, офицерское казино и как дополнение — три гостиницы, два кафе, кондитерская, винный погребок и паршивенькое варьете с потасканными певичками, которые между делом охотно удостаивают своей благосклонности офицеров и вольноопределяющихся. Строевая служба повсюду одинаково пуста и однообразна, час за часом расписаны по незыблемому, веками установленному порядку; в свободное время тоже не происходит ничего интересного. В офицерском казино все те же лица и те же разговоры, в кафе все те же карты и тот же бильярд. Иной раз даже удивляешься, как это еще Господь Бог удосужился нарисовать разные пейзажи вокруг шестисот или восьмисот домов, насчитывающихся в таких городишках.

Правда, у нового гарнизона было одно преимущество перед прежним, галицийским: он находился близко от Вены и не очень далеко от Будапешта и тут останавливались курьерские поезда. Те, у кого были деньги — а в кавалерии, как правило, служили люди со средствами, не

говоря уже о вольноопределяющихся из высшей знати и сынках крупных фабрикантов, — могли, отбарабанив положенное, уехать с пятичасовым в Вену и к половине третьего ночи вернуться назад. Так что вполне можно было сходить в театр, пошататься по Рингу и завести любовную интрижку; некоторые счастливики даже снимали там постоянные или временные квартиры. К сожалению, подобные освежающие прогулки были мне при моем бюджете недоступны. Я довольствовался кафе и кондитерской, где играл в бильярд (карточные ставки выходили за пределы моих возможностей) или в шахматы, что уж совсем ничего не стоило. Так вот, однажды — это было, кажется, в середине мая 1914 года — я сидел после обеда в кондитерской за шахматами. Моим партнером и на сей раз оказался местный аптекарь, он же помощник бургомистра. Мы давно окончили наши обычные три партии и сидели просто так, от нечего делать болтая о том о сем, — куда еще денешься в этой дыре? Разговор уже гаснул, словно догорающая сигарета, как вдруг неожиданно распахнулась дверь и волна свежего воздуха внесла хорошенькую девушку в широкой развевающейся юбке; карие миндалевидные глаза, смуглое личико, превосходно одета, ничего провинциального и главное — совершенно новое лицо среди осточертевшего однообразия. Но — увы! — элегантная нимфа не обращает никакого внимания на наши почтительно-восторженные взгляды: гордо и стремительно, упругим спортивным шагом она проходит мимо девяти мраморных столиков прямо к стойке и заказывает *en gros** торты, пирожные и напитки. Мне сразу же бросается в глаза, как *devotis-sime*** склоняется перед ней хозяин кондитерской, — я еще никогда не видел, чтобы у него на спине так туго натягивался шов фрака. Даже его жена,

* Оптом (*фр.*).

** Почтительнейше (*ит.*).

грубая, растолстевшая провинциальная Венера, которая обычно со снисходительной небрежностью принимает ухаживания нашего брата (у каждого бывают к концу месяца кое-какие долги), встает из-за кассы и рассыпается в любезностях. Пока господин Гроссмейер записывает заказ, прелестная клиентка беззаботно грызет миндаль в сахаре и переговаривается с фрау Гроссмейер; нас она не замечает, хотя мы до неприличия усердно вытягиваем шеи в ее сторону. Разумеется, юная госпожа не утруждает свои нежные ручки покупками: фрау Гроссмейер предупредительно заверяет ее, что все будет доставлено домой. Ей даже не приходит в голову расплатиться наличными, как это делаем мы, простые смертные. Сразу видно: благородная клиентура, экстра-класс!

Но вот, покончив с заказом, она направляется к выходу. Господин Гроссмейер кидается отворить дверь, мой аптекарь тоже вскакивает с места и почтительно кланяется. Она благодарит царственной улыбкой. Черт возьми, какие у нее глаза! Карие, бархатные, как у лани. Едва дождавшись, пока она, осыпанная, будто сахаром, любезностями, вышла на улицу, я набросился на моего партнера с расспросами. Откуда взялся в нашем курятнике этот лебедь?

«Как, разве вы ее никогда не видели? Это же племянница господина фон Кекешфальвы. — (В действительности его звали иначе.) — Ну, вы же их знаете».

Фон Кекешфальва! Он произносит это имя, будто швыряет ассигнацию в тысячу крон, и смотрит на меня, словно ожидая, что я незамедлительно отзовусь почтительным эхом: «Кекешфальва? Ах да! Конечно!» Но я, свежеспеченный лейтенант, всего лишь несколько месяцев в новом гарнизоне, я, в простоте душевной, и понятия не имею об этом таинственном божестве, а потому вежливо прошу дать мне разъяснения, что господин аптекарь и делает